

ВЛАДИМИР ВАСИЛЕНКО

## *Три рассказа о счастье*

### Полуфинал «Германия—Франция»

— Ну, что?.. — уже на выходе из НИИ окликнул Виктора ведущий инженер Рыжиков. — Сегодня посмотрим?

— Что посмотрим?.. А-а-а!.. — в груди у Виктора разлилось приятное тепло.

— Ну ты даешь, — покачал головой Рыжиков. — На кого ставишь?

— На Германию, конечно.

— Ой, не знаю-не знаю... Ставили б взаправду, погорел бы ты, друг ситный, ой, погоре-е-ел... Предельные скорости, филигранный пас, — загибал Рыжиков пальцы, — игра на опережение... не аргумент?

— Аргумент.

— Ну, так что тогда? Боевой германский дух? Все то же?..

— Руммениге.

— Руммениге, — закивал Рыжиков. — Один. Хромой... Эх, молодежь-молодежь...

Первое, что делал Виктор прежде чем войти в квартиру, — глубокий вдох. В каждом доме, в каждой квартире — свой запах, и тот, которым это жилище приветствовало с порога, — единственный, неповторимый, словно реализованная, каждый раз вот так, прямо в дверях, подаваемая в ноздри мечта.

— Люда! — окликнул Виктор, сбрасывая в прихожей штиблеты. — Люд! Представляешь, сегодня с новым проектом так голову задумали... чуть не забыл, что сегодня это... полуфинал же сегодня... представляешь?.. На работе устала?

Прислонившись к стене, Людмила скептически оглядывала его прикид: примятую рубашку, потертые джинсы... Не ответив, прошла на кухню.

«Филигранный пас, — думал Виктор, моя в ванной руки, — филигранный пас...»

— М-м... вкусно... — промычал он, на ходу хватанув вилкой с тарелки, пробираясь за кухонный стол. — А ты?..

— Сыта... — вытерев полотенцем руки и, окинув голодного оценивающим взором, хозяйка удалилась.

«При чем вообще здесь футбол... — жуя и кивая своим мыслям, развивал тему едок... — искусный финт, пас на опережение, плотный удар... какое все имеет значение?.. Это как в жизни вообще: зависишь... на ровном месте... Я вон вчера во сне падал с дерева, и время мгновенно растянулось настолько, что успевал зацепиться, схватиться, выкрутиться... спастись... действуя изнутри, тогда как снаружи все свистело со страшной скоростью. Зависишь... Когда мяч у Руммениге — с виду, со стороны, все как всегда... А там, у него — другое время, растянутое, в котором он видит, как медленно все смещаются каждый в своем направлении и кто где будет... Когда так видишь, само собой приходит, что делать... вокруг суета, а мяч уже в воротах... одно слитное движение... Стадион орет, а то, что он только что сделал, медленно поднимается... испаряется... исчезает...» — Виктор мотнул головой, приходя в себя.

— Жаль только... — входя в гостиную, он натолкнулся на отстраненный взор хозяйки, — поздновато опять... Ну да ладно! Не каждый день такой футбол. Спасибо...

Наклонившись, поцеловав жену в висок, Виктор включил телевизор, словно проверяя готовность техники к старту.

— ...с нетерпением ожидают миллионы болельщиков! — сказал телевизор знакомым голосом спортивного комментатора... Людмила встала и вышла... — Вот как оценивает шансы команд в недалеком прошлом знаменитый капитан немецкой «футбольной машины», как справедливо называют сборную Германии, великолепный центральный защитник, знаю наверняка, многие сейчас вспомнили тот самый гол Олега Блохина, обыгравшего четырех защитников «Баварии» во главе с ее легендарным капитаном, Франц Беккенбауэр... Послушаем... — оглядываясь на дверь, Виктор приглушил звук и придвинул кресло ближе к экрану.

Просидев до самого начала матча в комнате с мерцающим в темноте, как в космосе, экраном, дотянув до выхода команд на поле, уже на середине немецкого гимна, на этих ходящих на скулах желваках у подпевающих, рвущихся в бой немцев, Виктор протянул руку и выключил телевизор.

— Люда... — присев на край широкой двуспальной кровати, он нашарил ее руку на простыне. — Ну, что ты...

Отняв руку, она сонно, шумно вздохнула.

Вернувшись в гостиную, разоблачившись, побросав на диван одежду, Виктор на цыпочках повторно пробрался в спальню. Не дыша, присел на кровать, пустую с «его» стороны. Выждав, аккуратно проник под одеяло.

— Знаешь, как я люблю так согреться... — прошептал еле слышно.

В ответ его отодвинули плечом...

Какое-то время спустя под одеялом установилось то равновесие, когда непонятно, что было, что будет... Затишье... Не шевелясь, он дышал ей в шею, потихоньку все больше согревая дыханием... С тем же сонным вздохом отбросив одеяло, она встала и вышла. В тишине прошумела вода. Вернувшись, улеглась на самом краю, запахла... Погружая руку в снова образовавшийся между ними просвет, он и хотел, и боялся наткнуться... рука зависала, млея и, вероятно, уже была слышна... Вдохновенный ответным бездействием, как с головой в воду, одним слитным движением он подлез к ней под мышку, вынырнул на блеснувший ему навстречу и как бы мимо — глаз, ощутив шеей щекотку длинных волос и принимая на себя тот вздох напрягшегося, но уже машинально, а не со зла, тела, какой отделяет сушу от моря: так волна, пробежав вдоль всего побережья широко и свободно, освежает наблюдателей в темноте.

Не собираясь сдаваться, Людмила, прикрывшись, отворачиваясь, кашлянула. Завладев неосторожной рукой, лишив прежней свободы, Виктор склонился над ее лицом. Отворачиваясь, она задела его губы своими...

Комната стала шаткой: Виктора, искавшего опоры, равновесия, то и дело заносило, вело. Спутница тише, но погружалась в ту же игру на равновесие, в которой, срываясь ногой, можно было проследить связь соскальзывающей ступни с загроможденным пространством, заявлявшим о себе в полный голос, обжигавшим мгновенно и с мучительным последствием. Держась друг за друга, по стеночке, они пробирались вдвоем, когда доска под ногой подломилась. Оставалось, сцепившись вместе руками, лететь...

— Телефон?... — очнулся он первым. — Показалось...

— Твой футбол, наверное, кончился...

Он пожал в темноте плечами. Какое-то время лежали молча.

— Все считают его бойцом, — подал голос Виктор, — каких мало. Никто не думает, что такое: «боец», что именно... Что, выходит на поле и крушит направо-налево?.. «Боевой дух», ни больше ни меньше — способность переходить в другое состояние, погружаться в ту замедленность, в которой... А может, не кончился? Вдруг добавленное время? Я пойду гляну?..

— Конечно... — она протянула к нему руку... вторую...

Притягивая, погрузила его в растворяющее без остатка тепло.

— Конечно... конечно... — повторяла она, пока он, сопя и не разнимая ее объятий, снова скидывал тапки...

— Н-ну... пошел?.. — сторбившись и улыбаясь в пол, сидя на краю кровати, спросил Виктор почти что самого себя — настолько ясно было, что там, за спиной, наконец-то не до него.

— Да, милый... — тем не менее еще прозвучало в ряской засасывающей комнате тишине...

Одной рукой включая телек, другой подтягивая штаны, прыгая на одной ноге, Виктор вздрогнул от телефонного взвизга.

— Да!.. — схватив трубку, сдавленно прошипел он, собираясь отбрить какого-то трезвонящего по ночам идиота.

— Ну, что! — хриплым голосом ведущего инженера Рыжикова оцарапала трубка ухо. — Надрали задницу твоим немцам! Нет, ну какой футбол, какой футбол! Согласен?.. Ладно... а то моя сейчас проснется... и так уже целый месяц держится... ну вот, уже возится... Все, пока... — в трубке смолкло.

Стоя в одной штанине, придерживая брюки рукой, Виктор с головой ушел в засветившийся экран: в темных французских футболках Тигана и Жирес обнимались. Промелькнуло счастливое лицо Платини. На экране высветилось: «3:1».

Забыв про штаны, Виктор сел. Если бы он мог сейчас видеть себя со стороны... по крайней мере, закрыл бы рот.

Значит, ничья в основное время. Ноль-ноль?.. Или один-один?.. Два гола французов в добавленное?.. Два гола за пятнадцать минут? Вот только что, прямо сейчас?.. Виктор едва не плакал. Казалось, смотри он все с самого начала, и...

Лицо Руммениге. Крупным планом — забинтованная нога. Всю игру продержат в запасе. Кого?! Дотянули. Выпускают, когда уже только — воду сливать... Правильно, что не смотрел.

Виктор зарыл лицо в ладони. Кто ему Руммениге? В самом деле... Брат? Сват?.. В сознании проплыла убийственная фраза Рыжикова: «Ну что, ты и в этом не рубишь?..» Значит, не рублю...

Равнодушно следя за вытворяющими чудеса большими ногами футбольного гения, Виктор еще не понимал, что уже вскакивает и, сдавливая голосовые связки, молча орет: каким-то чудом, но мяч был в воротах! Там, где никак быть не должен: во французской штрафной яблоку негде было упасть от «бело-синих», но — был! Отпрыгав по комнате от телевизора к черному за тюлем окну и обратно, откружив в диком танце, Виктор плюхнулся в кресло. «А вот теперь все только начинается!..» И знаете, кто третий закатит? Угадайте... Рыжиков, угадай. Да, десять минут! Да, невозможно! Проигрывая в дополнительное «1:3», вытянуть невозможно!.. Согласен. Согласен. Согла... Руммениге!.. нет... нет...

Все перевернулось, с головы стало на ноги, все изменилось, все. Немецкая «футбольная машина», раскручиваясь на полном ходу, ни на секунду не отвлекаясь, делала только одно — с бешеным напряжением последних минут искала одного-единственного мгновения, одной-единственной, забинтованной пары ног...

— Рыжиков... — прикрываясь рукой, негромко сказал Виктор прямо в трубку, когда на экране уже горело «3:3»... — Валентин Сергеевич... Угадай, кто победит по пенальти...

— Пошел к черту, — огрызнулась шепотом трубка.

## Счастье

— **З**наешь, что такое счастье? — спросил лежавший на трех составленных стульях младший научный сотрудник Шашаев, тридцати девяти лет.

Стулья стояли сразу за столом аспиранта Квитко: был виден вылезший из-под тенниски волосатый живот Шашаева, его подмышка и обращенные к аспиранту выразительные, словно подведенные тушью глаза. Шашаев был в стельку пьян, и слова вылетали из него небрежно. Квитко кивнул.

— Шт, правд знышь?.. Шт-тко счастье?.. — не то искренне удивился, не то поддел Шашаев, густые брови его взлетели и опустились, демонстрируя, что аспиранта младший научный сотрудник видит, контролирует и ускользнуть от вопроса не даст. — Н-нн... Я слышью...

В сложившейся ситуации дискуссия с Шашаевым была делом странным, но странность притягивала. Дверь заперта (дав выпившему приют в рабочее время, Квитко не собирался Шашаева сдавать), вспомнить по выходе из тумана мэнээс вряд ли что-нибудь сможет — при таких обстоятельствах прогулка в тумане на пару с «ежицом», на которого Шашаев и впрямь походил, становилась вполне невинной.

— Можт-ты думьешь, этт твоя дсертация?.. Или зад лизать? — последнюю фразу мэнээс, напрягшись, выговорил отчетливо. — Всю жизнь... — повторив, но уже элегично, без нажима, он замолк.

Отвечать не требовалось, аспирант понимал. Слова, соскользнув, прозвучали сами собой:

— Когда с двух сторон волосы шторками... и губы теплые-теплые... горячие...

— Чт-то?.. — очнулся мэнээс.

— Позавчера я летел в самолете и вдруг подумал: если мы сейчас навернемся, до самой земли передо мной будут стоять синие, цвета моря, глаза. И ничего не страшно...

— А-а... — отмахнулся Шашаев. — Эт знышь что? В чистом виде Набоков. А что Набоков? Одна «Лолита». Тогда... когда как есть... много кто...

— Например.

— А что Набоков? Одна «Лолита»... дурной вкус, а есть... глыбы, титаны...

Полчаса спустя на стульях снова произошло оживление. Подтянувшись, мэнээс приподнялся.

— Счастье — это вот что, — услышал аспирант. — Я тебе скажу, что такое счастье. Счастье — это когда я беру свою «Волгу», выезжаю за город и качу куда глаза глядят...

— Один? — уточнил аспирант.

— ...куда глаза глядят, понимаешь? И ни одна собака... Хочу — на север, хочу — на юг... И вот я где-нибудь, где-то там, где угодно, съезжаю с дороги, за посадки, направо, налево — всё. Стоп. Н-ночь... Понимаешь?..

Бежевая двадцать первая «Волга» Шашаева, подарок отца-академика сыну-мэнээсу, промелькнув в сознании Квитко, сменилась в памяти тихим стуком в дверь, от которого он и сейчас внутренне содрогнулся. Так же, как

сегодня этого лежащего теперь перед ним отца троих сыновей, впус­тив тогда лаборантку Ковалевскую (так же спасая ту от начальства), выслушивая пьяные ее откровения, эти сопливые жалобы на жизнь, в которой есть место жене и трем сыновьям, но нет места ей, лаборантке Ковалевской, аспирант вот так же тогда ловил себя... на чем?.. На странном ощущении (переходящем в желание), очень близком к этому: возможно всё. Ощущение возможность создавало. Желание толкало в нее. Чудом не кончилось тогда поцелуями посреди пьяной дамской лихорадки в его, аспиранта, вроде бы по-братски согре­вавшим, утешавшим объятии...

— ...Ни хрена ты не понимаешь. Утро. Выхожу из машины. Понятия не имею, где я. Можешь представить: стоит... нет, еще лежит солнце... впереди медленно снис... нис... ходящее хлебное поле... там, внизу, лес... Можешь? Представить можешь?.. И я иду, иду по траве, и у меня ни одной мысли из этих вот... этих, знаешь?.. где я, зачем я, отчего, почему?.. Там, у елочек позади — моя «Волга», и больше мне ничего ни для чего ни вот настолько... Вот так, по курсу — солнце, и начинаешь понимать, что такое — дышать. По-настоящему...

— И это вот счастье?..

— И это счастье! Да!.. А не что-то другое... Ты дверь запер?.. запер?.. это правильно... Видно, как поднимается... медленно-медленно... прямо по курсу... — Шашаев окончательно сник.

Через тридцать лет... Обычно пишут: «Прошло тридцать лет» или же (титры в кино): «Тридцать лет спустя»...

Через тридцать лет бывший аспирант Квитко въезжал на своем опеле в дачный поселок, что в десяти минутах от кольцевой, принадлежавший на паях депутатам и академикам, — главный редактор частного издательства Квитко в последнее время общался и с теми, и с другими: среди власть имущих имелось достаточно людей с претензией на личную, хорошо изданную и в добротном переплете автобиографию. Сегодня Квитко ехал не работать — отдыхать. Бывший ректор партшколы пригласил отметить недавний выпуск издательством сборника его прозы. Естественно, с ночевкой.

Уже среди домов Квитко попал в поселковую пробку: два выезжавших навстречу джипа ни при каких обстоятельствах с ходу не могли б разминуться с его опелем, всем троим пришлось выруливать по обочинам — джипам впритирку к забору, опелю — «топча» колесами чей-то заброшенный участок, голый, увенчанный вместо дома полуперевернутой, подпертой кирпичами, ржавой ванной. Рядом с ванной тлел костерок.

Ректор партшколы жить любил и умел. В прохладных в этот жаркий августовский полдень покоех дома можно было заблудиться. Стол накрыли на веранде.

— А что, Иннокентий, — обратился хозяин к Квитко посреди застолья, — если тебе где-нибудь тут же по-соседству поселиться? Участок выделим. Будем с тобой, как Иван Иваныч с Иван Никифоровичем.

— Да у вас тут все застроено, — улыбнулся в ответ Квитко, не помышлявший ни о каком участке. — Только одну и видел делянку, когда ехал.

— А-а, это, наверное, где ванна... Люди говорят, он под ней спал. В дождь, вроде, видели.

— Кто спал? — поинтересовался Квитко.

— Да есть у нас один. Наверде завхоза. По соседям ходит. Если помощь кому нужна — тогда он, считай, с ночлегом. А нет — вот твой участок и вот твоя ванна. Так что, может, и спал... А землю мы тебе найдем, не сомневайся.

Поглядывая с веранды на перелесок, уходящий в поля, Квитко спинным мозгом чувствовал: по такому теплу да после дождливой недели...

— А нет ли у вас в доме сапог? — не выдержав, спросил Квитко после очередной рюмки.

— Хочешь по просеке пробежаться? Пробегишься, пробегишься... Вот еще, погоди, по одной под селедочку, и с богом. В подвале... и кошик, и сапоги.

Перелесок под самыми дачами был пуст, что не смутило грибника, уходящего от домов все дальше. Боже, как хорошо! В каком-то десятке минут от города... На глазах теплея после сырой недели, лес дышал, и выдох его незаметно становился человеческим вдохом. Под листвой и хвоей, не стесненная никакими стенами, гуляла прохлада. А у самой земли, возле мхов и трав, рука погружалась в бархатистую свежесть. Как в воду. Квитко уже никуда не летел. Наслаждаясь, плелся. Он набегался за неделю. Заездил колесами городской асфальт. Замылил глаза бесконечным компьютерным текстом. Ради чего? Сам себе отвечая на этот вопрос: ради семьи! — каждый раз он не до конца был удовлетворен этим ответом. При всей очевидности того, что жена и сын требуют... никто ничего не требует, они — семья, его семья, какую он создал и какую кормит... Но... Живи он один... Вот... вот эти мысли: дескать, самому и на сто баксов прожить — ничего не стоит, и делал бы при этом что хотел... Что? Что хотел? Писать не чужие биографии, а свою собственную? Что хотел-то? О-о, он много бы сделал, не лежи на нем долг... Квитко покраснел. Он вдруг вспомнил когда-то вырвавшиеся у него слова о теплых губах, о волосах шторками... о синих, цвета моря, глазах — как свободно они соскочили тогда, слова. Как легко было все. И как, никуда не деваясь, незаметно, все оказалось под невидимым спудом. Под едва различимой тончайшей марлей... С размаха уйдя лбом в паутину, Квитко отшатнулся!.. Для бабьего лета вроде не время... Ну вот! Наконец! Наклонившись, редактор подрезал плотную ножку... осторожно перенес подосиновик в кошик. Наконец. С почином!

Едва заметная в подлеске тропа, не сворачивая, выводила прямо на просвет в деревьях. Здесь, у кромки леса, один за другим, в кошик перекочевали три, один одного краше, белых. Белыми, собственно, были ножки, шляпки же поражали контрастом: невозмутимостью бурого верха и — близкой к обмороку бледностью зеленоватой изнанки. Квитко не мог бы ответить, в чем больше прелести: вот так, как сейчас, почти с эротическим чувством, рассматривать... или же много позже, потом, смаковать... маринованные... под водочку.

Собственно, все, чего душа желала, за какие-нибудь полчаса прогулки он уже получил. Задержавшись на краю леса, редактор обозревал окрестности: волнуясь, поля уходили наискосок в правый нижний угол картины... пятачок зелени, вероятно, обступившей болотце в низине, укрыл в своей тени скудное стадо... лай и позвякивание донеслись оттуда... скотина нехотя поднималась, практически не оживляя пейзаж: стоя на месте, размазанные небрежно по синеве облака, фиксируя сцену, зрительный зал, намекали на то, что никакого Квитко, собственно, не существует. Незнакомое, свежее ощущение.

Приближаясь к скрещению лесных дорог, редактор услышал характерное дребезжание: кто-то ехал на велосипеде. Не доезжая до перекрестка, этот кто-то сошел, звуки стихли. Вероятно, такой же грибник, орудующий сейчас ножом в вереске. Точно: в десятке шагов за поворотом велосипед лежал у обочины.

— Ну, как грибы? — из вежливости подал голос Квитко.

Распрявившись, шагнув навстречу, дедок показал ведро, вызвавшее у редактора укол зависти. Полюбовавшись белыми, Квитко поднял глаза.

На затылке седые клочья. Сверху блестяще и голо. Борода ватой. Одинок торчащий зуб. Старичок-лесовичок... Бежевая «Волга», зависть институтского руководства... Жена — душа компании... Три красавца-сына, один другого выше... Четырехкомнатная квартира на проспекте... Отец академик...

— Иннокентий, ты, что ли? — беззубый рот Шашаева расплылся в улыбке. — Какими ж ты тут... судьбами?.. К кому-к кому?.. Это на самом краю? С башенками, да?.. (Понизив голос.) — Ты, может, и в партию вступил?.. Ну, в партию теперь поздновато!.. (Смеется.) Я?.. Да я тут... в поселке... участок у меня... Что?.. Счастье?.. (Смеется.) Слышь, это в партшколе на втором курсе проходят, что такое счастье... Слышь, точно? Да?.. (Смеется.) Ну, ты что, куда?.. Ну, а я еще тут покатаюсь... По местам боевой и трудовой... Ну, давай. Пока...

Отошедший уже прилично Квитко обернулся: потупясь, старичок-лесовичок глядел вслед...

Уже выйдя к крайним домам, редактор снова взял туда, где погуще. Побродив по перелеску, уселся на пень на прогалине. Возвращаться к ужину не хотелось.

## Бедный Бобер

**К**акое удовольствие — босичком гладить собаку!..

Нанежив пятки и пальчики, Дуня соскакивает с дивана и, погрозив уставившемуся на нее Боберу, исчезает за дверью. В утренних сумерках гостиной блестит на свету, прокравшемся между шторами, ореховый раек собачьего круглого глаза.

В дальней спальне дед, поймав Дуню за руку, не отпускает. Дуня смеется.

— Дедушка... деда... Расскажи про Бобера...

— Грустное или веселое? — уточняет дед, поворачиваясь к Дуне и заведя свободную руку за голову, похватав пятерней воздух, ловит наконец железную дужку кровати.

— Грустное, — смеется Дуня.

— Все-таки надо отучать ее от этой привычки лазить в спальню, — встречаясь с папой на кухне, растряхивая полотенцем мокрые волосы, говорит мама, — когда мальчик еще отдыхает. Выпускные на носу.

— Ну... — разводит папа руками... — осенью уже не полазит...

Остановившись, родители смотрят друг на друга так, словно впервые увиделись. Папа приобнимает прислонившуюся к нему маму.

— Когда ты была еще крохой, мы переезжали из маленькой квартиры в эту, большую... Из старой я уходил последним... Оглядел с порога пустой коридор... и сделал вид, что ухожу... что уезжаю... а его с собой не беру... — угомонив Дуню, усадив ее к себе на кровать, шепотом, чтоб не разбудить лежащего на своем диванчике внука, говорит дед.

Улыбка сходит с Дуниного лица.

— Поначалу, не смея идти за мной... стоя там, в дверях пустой комнаты, он еще танцевал... по-собачьи... перебирая ногами по полу... а потом словно прилип на одном месте... Было видно, как ужас в его глазах понемногу сменяется тоской...

На Дунино лицо находит тучка. «Не замечая», дед продолжает, все с теми же паузами:

— Уже выходя, я обернулся... обернулся и закричал, смеясь: «Бобер, Бобер, ко мне!»... А он... он стоял и не шел... И смотрел все так же...

Дед гладит по головке притихшую Дуню... Внук, обернувшись с дивана, уставясь на сестру и деда, в конце концов заводит на манер святого Себастьяна глаза на потолок и шумно вздыхает.

— Сегодня у нас Кривицкие, не забыл? — спрашивает мама папу на кухне. — Тебе не кажется, что у нашего с их дочкой... На работе сегодня не задерживаемся, да?.. Как твои «личностные архетипы», продвигаются?

— Все бы ничего, если б не это ощущение... — папа, подув в чашку, потягивает чаек... — Иногда, знаешь, находит. Что все наши статьи, отчеты, исследования — копание... известно, в чем. А на деле... Высадились на Землю 5—6 пришельцев во времена оны — вот и все «архетипы». Нет, правда. Комплексы, фобии, энергетика, мировосприятие: 5—6 основных линий. И это при всем множестве комбинаций, пересечений в потомстве... Знаешь, до чего у меня иногда доходит?.. Что все Крестовые походы, включая последний, — следствие скрытой личной неприязни одного из высадившихся к другому... Ну?.. Как тебе такой ученый в моем лице?.. — встает из-за стола папа. — Спасибо.

Тихий час. Дуню уже не укладывают как прежде — сама, на минутку вытянувшись на диване в гостиной, начинает посапывать.

«Неужели в чувстве собаки, прячущей со страху глаза, — столько много, столько всего?.. — рядом в кресле, опустив на колени газету, думает дед. — На собаку кто-то кричит... она не знает, за что... хвост поджала, в глазах ужас... Вот этот вот ужас: неужели острое, глубокое чувство животного, человека — самое важное, что существует вообще? Прямо у нас под носом. Яма. Пропась. Чувствительная бездна. Ключ к пониманию. Нет, не к пониманию. Понимание само по себе ни к чему не ведет...»

— А собака знает, что она собака? — Дуня уже давно смотрит на деда.

— Вот ты летом на даче видишь... грушу на дереве. Ну вот, представь: ты знаешь, что это сочный, вкусный плод. Знаешь, как его сорвать, вымыть, съесть. Только не знаешь, как он называется... Представила?

Дуня кивает.

— Вот так и собака. Облизывая пораненную лапу, она знает, что это ее лапа, отряхиваясь, знает, что чистит свою шубу. Она даже может узнать себя в зеркале, если ее к зеркалу приучить. Но что лапа называется «лапа», шуба называется «шерсть», а вся она, та, что в зеркале, называется «собака», она, конечно, не знает. Знает только свое имя... кличку. Ну, что?.. — смотрит на Дуню дед.

— Нет, дед. Как же она может не знать «лапу», если она ее дает. Мы же с тобой играем в «Дай лапу». Я говорю: «Дай лапу», и Бобер дает, — лукаво глядит Дуня на деда.

— ...Но не знает, что ему говорят два слова, что первое слово означает просьбу «дай», а вторым называют то, что он дает... Вставай, раз не спишь.

Тут же закрыв глаза, Дуня долго лежит... Дед уже поднимает газету с колен.

— Дедушка, ты не умрешь? — обращенные к деду Дунины глаза полны слез.

— Здравсьте-пожалуйста... ты что это...

Лежа не шевелясь, Дуня лишь косится в его сторону.

— Не умрешь? — всхлипывает она.

— Что ты, глупая... не умру... не умру, конечно... вот придумала... — бормочет дед.

— Никогда? — успокаивается внучка.

— Никогда...

Побродив по комнатам, постояв перед дальней спальenkой, Дуня толкает дверь.

— А-а-а... Поппи-колготка... — оборачивается сидящий у окна за письменным столом брат.

— А что ты читаешь? — спрашивает Дуня с порога, не решаясь войти.

— Так... одну книжку... «Три по сто пятьдесят» называется.

— А что такое «Три по сто пятьдесят»? — осмелев, Дуня подходит к столу.

— Три романа по сто пятьдесят страниц. Автор так назвал. Ничего у мужика с юмором, да? Во, гляди, первого название, читай, — незаметно подсовывает брат книгу под раскрытую толстую тетрадку.

— «Можно ли из-ме-нить мес-то встре-чи...» — читает по складам Дуня выведенное на тетрадной странице печатными буквами.

— А знак в конце какой?

— Вопросительный.

— Ну, так спрашивай.

— «Можно ли изменить место встречи?» Да?

— Теперь второго название. Знак в конце.

— «Чья... чья со-ба-ка... Чья собака?»

— Молодец. Третьего. Знак.

— «Ско-лько... сколько не-гри-тят?» — глядя на брата, Дуня хохочет вместе с ним.

— «Можно ли изменить... место встречи?» — заходясь уже до слез, брат ударяет себе по коленке! — Пред... представляешь?..

— Ага!.. — вторит ему Дуня, тоненько заливаясь.

— Дуня... — где-то в комнатах подает голос дед, вслед за тем появляясь в дверях. — Дуня...

Беря Дуню за руку и внимательно глядя на внука, поднимает указательный палец свободной руки:

— У человека... послезавтра... экзамен!.. А мы мешаем.

— ...Меня?.. Этот рубенсовский мужчина? Ты с ума сошел... — суетясь на кухне, мама быстро открывает один за другим верхние шкафчики, встает на цыпочки, заглядывая внутрь... — Знаешь... куда же я изюм поставила?.. знаешь, что их дочка нашему говорила, я подслушала... А, вот он!.. Смотрел, говорит, «Миссия невыполнима-3»? А про что там? Это наш спрашивает. Прото, говорит, как папа шнурки завязывает. Ну, ты представляешь?.. Представляешь?..

— Я представляю, что наш обо мне говорит.

— Только хорошее... — быстро оборачивается мама, — нет-нет!.. Это не в мясорубку!..

— А Бобера ты куда? — выходит из дальней спальни дед. — Дуня? Я специально его в твою комнату, а ты опять в гостиную...

— Да-а... Мы все тут сидеть будем, а он там оди-и-ин...

— Ну, ты хоть что-нибудь выучил? — отрываясь от мясорубки, спрашивает папа вошедшего в кухню сына. — И так сегодняшний вечер, считай, пропал... Я с тобой, кажется, разговариваю.

— Нормально... — запихнув в рот кусок батона, подает голос сын.

— Придут люди, большая просьба: не заставляй нас с мамой краснеть. Все свои шуточки отложи на потом, ладно? Без этих твоих, как в прошлый раз, гримас и ужимок. Девочка из культурной семьи, бог знает что, наверно,

подумала. Постой, я не закончил. И кроме бокала вина... Сделай так, чтоб я понял, что ты меня слышишь!

— Целиком... Ма, колбасы нет?..

— Поговорили... — отец отер лоб рукой, когда сын вышел. — Твое воспитание... Вот что ты сейчас молчала? «Мальчик занимается», «мальчик занимается»... Посмотрим, что этот мальчик принесет послезавтра.

— Ну, скоро уже они придут? — сидя на диване, Дуня прижимает к себе Бобера.

— Скоро, — смотрит дед на настенные часы. — Проголодалась?..

— ...«Лошадь, тебя понесло?» — «Да», — кивнула лошадь, — разливая по фужерам, говорит Илья Ильич, большой, как гора, главный гость, и, переменяя бутылку, протягивает новую уже к рюмкам.

Дуня смеется вместе со всеми не от того, что именно он говорит, а от того, как смеются вокруг нее: все вместе и каждый по-своему. Слева от нее, сразу за братом, смеется в голубом платье та, кого главный гость в шутку (Дуня понимает, что в шутку) называет «Ильинична». Справа — мама. Напротив — папа, главный гость и жена главного гостя Алисия Альфонсовна. Во главе стола — бабушка.

— Самое отвратительное в пьянстве — тосты... — ставит бутылку на место Илья Ильич. — Ну, так что? Без церемоний?

Не дожидаясь ответа, человек-гора, запрокидывая голову, глотает саму, как кажется Дуне, свою рюмку. Папа, держа свою перед собой и не думая ее глотать, в два приема, с перерывом, морщась, выпивает. Алисия Альфонсовна, обмакивая губу, только делает вид, что пьет. Дед, благородно изогнув кисть, отставив мизинец, поднеся рюмку ко рту, резко откидывает голову, как запивая таблетку. Дуня вырастет — будет так. С мизинцем. Мама, выпив, облизывается («Вкусно»). Брат, приканчивая свой фужер, издает предательский чмок, отчего «Ильинична», уже отставившая свое пригубленное, отстраненно-весело, напрягая глаз, морща губы, косится в его сторону. Надо будет Дуне выучить перед зеркалом...

Под общий звон вилок о тарелки Дуня наконец берется за свой любимый квас, сегодня в высоком круглом стакане с золотым ободком.

— ...Вот так коза моя стояла, вот так березонька росла... — приговаривая, снова обносит Илья Ильич бутылку с вином над приборами дам и молодежи... потом берет другую. — «Русский мартини» знаете? Бутылка водки на банку маслин...

Смешно?..

— Я все же хочу сказать, — отодвигаясь от Дуни на край дивана и разворачиваясь к гостям, говорит мама. — Как хорошо было встречать Рождество в Праге со своими! Хоть и Прага, не Бомбей, не Сидней, почти дома, а все равно... Как хорошо, что мы там встретились, познакомились. Представляешь, папа, сидим, над столиками гул вокруг, и ни словечка по-русски. Ну, думаем, попали... И тут вдруг... ведут к нам...

— Давайте за Турцию летом! — вступает Дунин папа. — Как хотите, я считаю, своим тесным кругом везде веселей. Семья хорошо, а две семьи лучше!.. Ну, так как, надумали? Так что, все «за»?!

Веселье выходит на плато. Говорят разом. Только бабушка вежливо помалкивает, улыбаясь в усы.

— Дуня. А что мы тебе принесли... — отклоняясь, из-за спины брата обращается к Дуне «Ильинична».

В своей комнате Дуня усаживается на стул... Соскакивает, убегает и возвращается с Бобером!.. Брат с «Ильиничной», поколдовав над видеомагнито-

фоном, присаживаются рядом, на кровать. Увлеченная ожившими на экране героями мультика, Дуня не замечает, как комната позади нее пустеет.

— Фас, Бобер, фас! — прикрывая за собой дверь родительской спальни, дурачится брат.

— Профиль, Бобер, профиль... — отступает «Ильинична», пока не садится на застеленную постель.

— Собачек... — глядят Бобера с одной стороны.

— Собан!.. — теребят с другой.

Наконец Бобер оставлен в покое. Брат дотягивается до ночника и выключает свет. «Ильинична» тут же встает.

— А ты мне за это пуговицу пришьешь... — дрожит в полутьме у стены юношеский баритон.

— За что «за это»?..

— За рубашку...

Какое-то время спустя слившиеся силуэты разделяются сверху.

— В Турции... это будет... несколько проще... — с придыханием сообщает девичье сопрано.

Дверь распахивается, в спальню одновременно врываются свет и звонкий девчачий голос:

— А какие у вас еще мультики есть?!

Мгновенно собрав рукой блузку, «Ильинична» одними глазами показывает Дуниному брату на открытый дверной проем.

— Хочешь, я сделаю тебе крылья?! И ты будешь летать по квартире! — вдохновенно обращается брат к сестренке. — Только для этого ты должна уменьшиться, в десять раз... Беги к маме и спроси, умеешь ли ты уменьшаться в десять раз.

«Ильинична», провожая глазами Дуню, застегиваясь, переводит дух.

— Мама, мама! Я умею уменьшаться в десять раз? — перебивая разговаривающую за столом маму, заглядывает Дуня ей в глаза.

— Уменьшаться?... — недоумевает мама.

— Тогда мне сделают крылья, и я буду летать по квартире...

— Ну, я сейчас ему дам! — отставляет рюмку папа.

Мама через стол хватается его за руку, и он опускается на место.

Обиженно входя в пустую родительскую спальню, Дуня направляется к Боберу, лежащему на боку на кровати.

— Не берут в свою компанию? — обращается к ней, вернувшейся в гостиную, устраивающей Бобера на диване, Илья Ильич. — Ну, не беда, правда?..

Дуня не отвечает.

— А почему игрушечный? — поворачивается Илья Ильич к папе.

— У нас хорошее воображение... — папа подмигивает Боберу.

— А хотите, живого принесу? — обращается главный гость к хозяевам.

— Получишь в ответ два, — кажется, впервые за вечер подает голос Алисия Альфонсовна. — Вместе с тем, что принес...

Никто не обращает внимания на то, какие у Дуни сразу глаза!..

— Вспомни, ты уже предлагал... у нас есть знакомые, — поворачивается Алисия Альфонсовна к Дуниной маме, — у нас с ними серебряные свадьбы практически одновременно. Что подарить?... Илья собирался к их терьеру добавить сеттера. Что тебе ответили? — поворачивается Алисия Альфонсовна к мужу. — «Получишь в ответ два. Вместе с тем, что принес». Илюша, ты вот так говоришь и не представляешь. На любую ситуацию надо уметь смотреть взглядом другого. Собака — не шутки. У кого-то аллергия на шерсть, кормить, гулять три раза в день, минимум...

— Я вчера выхожу из подъезда...

— ...семь утра, полседьмого, воскресенье, суббота, хочешь не хочешь — вставай, веди... это вовсе не шутки...

— ...выхожу из подъезда, — продолжает Илья Ильич, — сосед на травке с доберманшей на поводке, и она, это... присела. Я киваю ему, говорю: «А ты что ж отстаешь?»

— ...не шутки.

— Он тебя слушается? — не обращая внимания на то, что Дуня молчит, вновь обращается к ней Илья Ильич. — Не хулиганит? Перья павлиньи не рвет? (В углу гостиной на полу в вазе стоят перья.) Смотри!.. — шутливо грозит Боберу главный гость. — Павлин вечером за перьями придет — он тебе навалит!..

Чтоб дотянуться до выключателя, нужна табуретка. Тяжелая... Сделав дело, Дуня тащит ее обратно на кухню.

— Пойдем... — подхватывая Бобера, входит в тускло освещенную (под потолком светлее, внизу чуть видно) узкую кладовку.

На антресоль ведет приставленная наискосок лесенка. Дуня ни разу не лазила. Даже сама... Беря Бобера на руки, она прислушивается... Издалека слышится в кладовку приглушенный дедушкин тенор:

— Давно не бывал я в Донбассе... —

тут же подхватываемый дружным хором гостей и хозяев:

— Где волны бушуют у скал!..

На лестнице тесно. Ставя ногу на нижнюю ступеньку, Дуня изо всех сил прижимает к себе Бобера и, подтягиваясь, вырастает ровно на один осиленный пролет... Выскользнув из рук, Бобер падает вниз... Переведя дух, Дуня почти с самого верха спускается... Отерев лоб, поднимает с пола друга... Восхождение повторяется. На самом веру у Дуни еще остаются силы на то, чтобы перевалить мягкое черное тело друга через верхнюю ступень лестницы на заветную полку.

— Не бойся, собачка. Никто тебя не найдет.

За полночь на кухне из крана льется вода. Мама без сил сидит на табуретке у раковины. «Или выключить, или домыть...» — думает мама.

Вечер и нравится ей, и нет. Вот и придаться не к чему. А все равно на душе смута. Как хозяйка, вроде, не оплошала. Мальчик с девочкой исчезали?.. Девочка, вроде, правильная... знает себя... Что тогда?.. Никто не упился, с закусками полный порядок. Что же? Суета? Не те разговоры? Доминирование гостя за столом? Эти его прибаутки? Что?..

М-м?.. Что?

Кое-как закончив с посудой, заглянув по дороге в ванную, мама, держась за стену, направляется по темному коридору к спальне. Оглянувшись уже от двери, понимает: что-то не так. Возвращается к кладовке. Так и есть: свет внутри. Только какой-то очень уж слабый... так, словно лампочку там, наверху, что-то загордило... Разглядывая Бобера на кухне, мама видит на черном бархатном животе пса свежий коричнево-ржавый круг. «Ожог» от лампочки. «Завтра рёву будет на весь дом», — думает мама, не веря, что на сегодня еще не всё... Блывая глазами, уже на автомате, из баллончика с черной краской-аэрозолем прыскает на коричневое пятно. Прикрывшись ладошкой, зевая, глядит на свою работу. Поворачивает пса мордой. Смотрит в собачьи натерпевшиеся глаза:

— М-м?.. Что?